## Рождественский мальчик

Автор: *Сологуб Ф.К.*

Федор Сологуб

Рождественский мальчик

Пусторослев наконец остался один.

Сколько усталости! Целый день встреч и разговоров.

Жгучие, волнующие темы. Заботы и хлопоты о деле, которое так взяло все время.

Так взяло все время, что теперь, в минуту отдыха, вдруг не хочется думать о нем. Усталость обволакивает все чувства липкою пеленою. Глаза не хотят глядеть.

Прилег на диван. На письменном столе стынет недопитый стакан чаю. Бледное, нервное лицо склонилось. На темно-красной подушке оно кажется особенно бледным и худым.

Припомнилась далекая Сибирь. Подневольное житье в ней. Лютые морозы. Земля, которая и летом не оттаивала глубоко. Товарищи суровой ссылки. Долгие, долгие ночи. И такой мрак, и такой холод!

Захотелось безопасности, уюта, семьи. Услышать детский лепет в этой квартире, слишком большой и слишком богатой для одного, - в робкие упражнения на рояли, - и внезапный смех.

Подумал:

"Разве с меня не довольно? Пусть работают другие".

И улыбка. Конечно, пусть другие.

И сразу же знал, что это - так только.

Нет, уже не оторваться от дела...

Опять тонкая дремота.

И вдруг легкие шаги.

Встрепенулся. Открыл глаза.

Никого нет.

Странно, - в последнее время Пусторослев не раз замечал, в минуты усталости и отдыха, что он не один. Чьи-то легкие шаги шуршали по полу недалеко от него, - словно кто-то маленький тихонько проходил мимо него, осторожно, босыми ногами. Маленький, едва достигавший головою до дивана. Подходил, всматривался, поднимая прекрасное нездешнее лицо. Прислушивался. Говорил что-то тихое, и странно внятное. Звал куда-то.

Но стоило открыть глаза, - и странный посетитель с легким шорохом скрывался. И уже казалось, что и не было его.

Сначала Пусторослев не думал об этих посещениях. Мало ли что приснится или покажется в минуты тоски и усталости.

Но вот уже несколько дней подряд маленький гость стал занимать внимание Пусторослева.

Прежде он приходил изредка. Теперь - каждый вечер. И Пусторослев уже начал ждать его.

В неверном, мертвом и неподвижном свете электрической лампы он приходил, легкий, маленький. И шаги его становились слышнее, - словно он уже вырос, стал смелее и решительнее.

Прежде он подкрадывался на цыпочках, - а откроешь глаза, - он укатывался куда-то дробными шагами, как испуганный мышонок, и не разобрать было, куда он убежал.

Теперь он приходил неторопливо, и слышно было, как легко, спокойно и уверенно ступают на паркет его ноги. И Пусторослев не решался еще очень быстро открыть глаза. Тот, ночной, уходил не торопясь, и Пусторослев наконец приметил, куда он уходит.

Это было место на стене. Самое обыкновенное на невнимательный взгляд. Немного ниже и наискось того места, где, в черной раме, висела гравюра, Мона Лиза. Между двух стульев. Узор обоев ничем, по-видимому, не отличался. Но было какое-то странное и значительное выражение в этих зеленоватых странных цветах.

И когда Пусторослев долго всматривался в узор, ему вдруг начинало казаться, что это место на стене чем-то обведено, словно за ним скрывается тайная дверь.

Лежал, закрыв глаза. От лампы на столе поодаль падали неподвижные пятна света на тонкое лицо. Услышал легкие шаги. Маленький посетитель подошел, всматривался в чего-то ждал. И в этом ожидающем стоянии неизвестного посетителя было что-то жуткое, тоскливое, вынуждающее к чему-то.

"Что-то надо сказать или сделать", - подумал Пусторослев.

Он слегка приоткрыл глаза, - и замер от жуткого и сладкого ужаса. Перед ним стоял мальчик, лет десяти на вид, весь белый, тонкий и сияющий. На бледном, точно неживом лице жутко мерцали черные, страшно глубокие глаза. Одежда странного покроя, вся , белая, открывала тонкую, длинную шею, и открыты были выше колен стройные, тонкие ноги. И весь он был спокойный и словно неживой, я только черные на бледном лице глаза жили и настойчиво вопрошали.

Миг один длилось видение, - и скрылось. Пусторослев открыл глаза, быстро встал, двинулся к мальчику, протянул руки, - но мальчика уже не было.

- Милый! кто же ты? где же ты? - воскликнул Пусторослев. Стало тихо. Ожиданием была растворена тишина. И вдруг, - тихий, сладкий и звонкий раздался смех. Пронесся в зыбкой тишине, - и замер. И Пусторослев вдруг почувствовал, что он остался один. Один! Никогда еще с такою значительностью не представало пред ним это столь страшное, столь великое, столь не понятое людьми слово. Одиночество, сладостное и несравненное, великий праздник для великой и надменной души, великое томление для вопрошающего человека!

И в этот миг больно почувствовал Пусторослев, что он только: человек, вопрошающий о неизвестном. В странном порыве тоски

подошел он к тому месту на стене, где под холодною и таинственною

улыбкою Джиоконды таилась дивная дверь, - и странные слова как

бы сами собою родились на его устах:

- И ты хочешь быть человеком? Зачем? Что тебе в нашем бедном существовании?

И тихий голос ответил почти беззвучно, но странно внятно:

- Я хочу.

"Бедные, расстроенные нервы, - думал на другое утро Пусторослев. - Надо уехать из этого жуткого и жестокого города".

Но когда он одевался, в неверном и слабом свете северного раннего утра прошел мимо него тихими и легкими шагами белый, весь белый и спокойный мальчик и сказал тихонько старые, странно земные и трогательные слова:

- Голодные. Дети. Трупики.

- Что? - в ужасе спросил Пусторослев.

И в тишине послышались еще более простые и земные слова:

- На гривенник молока.

Кратко и жутко промелькнул, едва возник и уже клонился к закату морозный день. На Невском зажигались фонари. Украдкой. Никто не видел, как они вспыхнули. И свет их был ясный и беспокойный.

На перекрестке двух шумных улиц, остановившись на минуту переждать толчею экипажей, Пусторослев увидел поэта-декадента, Приклонского. Медленною, развинченною походкою Приклонский подошел к Пусторослеву и молча пожал ему руку.

Пусторослев не любил Приклонского. Считал его шарлатаном. В этом смысле высказывался кое-где. До Приклонского, очевидно, дошли резкие отзывы Пусторослева. Как-то, встретясь на одном из тех вечеров, где все бывают и где всем бывает скучно, Приклонский подошел к Пусторослеву и без всякого повода начал рассказывать, по обычаю своему, очень парадоксально, что все писатели разделяются на два разряда: дилетанты и шарлатаны. Пусторослеву стало неловко. С тех пор чувство неловкости всегда охватывало Пусторослева, когда он встречался с Приклонским. Странные, опьяненно-веселые и невнимательные глаза Приклонского наводили на Пусторослева тоску.

Но теперь Пусторослев обрадовался этой встрече.

- Приключение по вашей части, - сказал он, стараясь говорить иронично, и вдруг чувствуя с досадою, что это ему не удается.

И он рассказал о белом мальчике. Досадно было, что рассказ выходит в сбивающемся тоне.

- Призраки держат себя странно, - закончил он, - вместо откровений о загробном мире какой-то детский и совершенно земной лепет.

Приклонский выслушал так спокойно, как рассказ о самом обыкновенном событии.

- Что вас удивляет? - спросил он. - Земное не ниже и не хуже небесного. Между этим и тем миром не такое соотношение, что одно хуже, а другое лучше. Плоть так же свята, как и дух.

- Но "на гривенник молока", - это все же слишком прозаично, - возразил Пусторослев.

Приклонский помолчал, спокойно посмотрел на него и заговорил, как бы отвечая на какие-то другие, более интересные слова:

- Мы живем среди природы, которая вся насквозь проникнута стремлением к жизни. Тысячелетия тому назад волевая энергия природы была так велика, что возникли бесчисленные разновидности жизни на земле. Теперь энергия природы принимает иной характер: природа стремится не только к бытию, - она стремится к тому, чтобы осознать себя. Нас окружает страстное желание не только быть, но быть самым сознательным, - быть человеком, и более, чем человеком. Те домашние маленькие нежити, которых вы давно чувствовали вокруг себя, настойчиво стучались в двери вашего сознания. Вам надлежит теперь отдаться с доверчивостью тому приключению, которое вас ожидает. Они вас не обманут. По крайней мере смело можно утверждать, что они не сделают с вами ничего такого, возможности чего не заложены в вас самих.

По-видимому, Приклонский собирался говорить еще долго. Но в легком дрожании его губ, которое придавало его некрасивому, преждевременно увядшему липу ироническое выражение, Пусторослеву почудилось желание мистифицировать его. Он начал слушать рассеянно и наконец сказал:

- Просто нервы у меня не в порядке.

- Просто, - неопределенным тоном повторил Приклонский.

Опять длился вечер, холодный, скучный, одинокий, - и он казался нескончаемым и ненужным. Никуда не пошел Пусторослев, хотя его ждали в одном месте, и сам он в другое время охотно поехал бы туда. В другое время. Но теперь что-то удерживало Пусторослева, и странное ожидание томило его больно и жутко.

Длился, томительно длился вечер, - и все было обычно и скучно, и буднично, как всегда, - и уже казалось, что ничего нет и не будет, кроме того, что бывает обыкновенно. Ни чуда, ни явлений из иного мира, близкого и вечно загадочного, страшного и желанного.

И опять усталость одолела Пусторослева. Он лег, взял книгу, чтобы скоротать время до того часа, когда можно лечь в постель. Опустил книгу, докучную, ненужную. Закрыл глаза... И как он мог не заметить раньше? Всегда здесь с ним кто-то, вопрошающий, неотступный. Чего он хочет? Пусторослев

сказал тихо, не открывая глаз:

- Скажи мне, чего ты хочешь, и где ты, и кто ты. Скажи мне о себе, - и я сделаю все, чего ты хочешь, и пойду за тобою.

Легкие шаги послышались. Таинственный гость подошел и стал у изголовья сзади. Так близко, --протянуть только руку, и коснешься его. Так близко, - и так далеко.

Пусторослев повернулся на бок, двинул руку туда, к изголовью, - и вдруг услышал тихие, тревожные слова:

- Не гляди. Не тронь. Рано.

Пусторослев опять лег спокойно, на спину, закрыл глаза и слушал.

Послышался нежный голос белого мальчика:

- Если бы я жил!

И в этом кратком восклицании было столько призывной тоски, такая жажда жизни достойной и доблестной, такой порыв наполнить огнем святой борьбы минуты жизни, что Пусторослев почувствовал, как душа его зажглась давно уже не испытанным восторгом.

Он встал. Быстро подошел к тому месту, где чудилась ему в стене дивная дверь. Не думал о ней, - как-то мимовольно подошел именно к ней. Остановился. Ждал. И весь дрожал.

Как тихое дуновение легкого ветра, мимо него прошел белый мальчик, зыбкий, едва видимый. Открылась тайная в стене дверь. За нею - узкий, темный проход. И Пусторослев без колебания пошел за мальчиком в неизвестный путь...

Были тогда беспокойные дни. Рабочие голодали, не шли на работы. Было много солдат и казаков. Иногда на улицах убивали.

Долог был путь: но как-то странно Пусторослев не замечал его. Наконец он увидел, что стоит на дворе деревянного старого дома. Под воротами горел фонарь, и если глядеть в ту сторону долго, то после на дворе казалось еще темнее и холоднее. Пусторослев был один. Ждал. Кто-то тихий и легкий промелькнул мимо него и скрылся.

- Куда же идти? - спросил Пусторослев.

И уже после того он увидел дворника. Молодой, длинный и тощий парень с рыжими, жесткими волосами, которых было так много, что они, казалось, приподнимали шапку-блин.

- Да вам кого? - спросил он простуженным и ленивым голосом.

Пусторослев сказал фамилию, - казалось ему, что она случайно пришла ему в голову:

- Елизаров здесь?

- А вон по той лестнице, в четвертый этаж, - ответил дворник. Как во сне, прошли перед Пусторослевым жуткие впечатления:

смрадная квартира; много угрюмых, словно голодных людей. Под образами - мертвая женщина. Мальчик, сын мертвой. Тощий, грязный, уродливый - и страшно и странно похожий на того мальчика, который приходил к Пусторослеву по вечерам.

Мальчик остался один. Родных не было. Пусторослев взял его. Жадные, голодные глаза глядели за ним, когда он уводил ребенка.

И все это промелькнуло так быстро, и все это казалось Пусторослеву сном до тех пор, пока он не очутился дома.

Наташа, его чинная и строгая служанка, сердито поморщилась, когда Пусторослев объявил ей, что ребенка он взял и что его надо устроить.

- За два часа не отмоешь, - ворчала она.

На другое утро Пусторослев заказал мальчику белую одежду того покроя, который он видел на своем таинственном посетителе. Заплатил, не торгуясь, так щедро, что, несмотря на предпраздничную спешку, одежда к вечеру была готова.

И когда вечером, тщательно вымытый, выстриженный, тонкий, белый, с горящими черными глазами, в короткой белой одежде, оставляющей ноги голыми, необутый, мальчик тихо подошел к Пусторослеву, стало Пусторослеву жутко, - так похож был этот мальчуган на того, вечернего и таинственного.

- Ты откуда, Гриша? - спросил Пусторослев. Мальчик неловко дернул плечом, потеребил тонкими пальчиками складки своего наряда и ответил:

- Из фабричных.

Помолчал. Потом сказал по-ребячески плаксиво:

- Утром с Наташей ездили, маму хоронили. Отец летом помер, теперь мама померла, - просто хоть ложись да помирай.

- Теперь ты мой будешь, - сказал Пусторослев. Мальчик помолчал, потупился, шепнул тихонько:

- Спасибо.

Мальчик был тихий, но не робкий. Он дичился посторонних, старался уйти, когда кто-нибудь приходил, но ух если его останавливали, то он отвечал на вопросы прямо и просто, с эпическим спокойствием первобытного существа.

Наступали праздники. Пусторослев сделал для Гриши елку. Позвал детей. Было человек десять маленьких гостей, бедные и богатые. Было весело и шумно. Пусторослева радовал Гришин смех, но ему жутко было глядеть в его внимательные, слишком черные, слишком глубокие глаза. Наутро он спросил:

- Гриша, скажи, понравилась тебе вчера елка? Гриша по своей привычке помолчал немного, теребя складки своего наряда, и потом сказал странно спокойным голосом:

- Елка - очень хорошо. Славно. А ребятишки у вас скверные были,

- Чем скверные? - с удивлением спросил Пусторослев. Гриша заговорил поживее:

- А как же, - они себя различают. Которые богатые считаются, те так свысока, а которые бедные, то такие завидущие, и все они завидуют, и так у них на все глаза горят. Все бы им отдать, да и то бы им мало было. Право слово, завидущие.

Часто разговаривали Пусторослев с Гришею. Каждый вечер. И каждый раз Пусторослев звал к себе Гришу с таким жутким чувством, как будто бы он и ждал от него, и боялся каких-то странных и страшных слов.

"Знает ли Гриша того, ночного? - думал иногда Пусторослев. - Не спросить ли его? Но как спросить?" И наконец спросил:

- Гриша, ты у меня был раньше?

Мальчик побледнел еще больше, и казалось, что он вдруг испугался. Робко шепнул он:

- А ты почем знаешь?

Пусторослев закрыл глаза. Голова его кружилась жутко и томно.

А Гриша говорил:

- Я-то у тебя был. Во сне. Вижу я, сидит такой барин за столом и крепко думает. А лица не видно. И так показывает, будто и вовсе лица нет. Но только это неверно. Теперь-то я узнал, - все как у тебя, и стол, и лампа, все как есть.

- Гриша, зачем же ты ко мне приходил? Гриша вздохнул.

- Ну вот, - рассказывал он, - вижу, сидит будто барин, а лица не видно. А я и говорю: барин, а барин, нешто нам весь век голодать одним. Пойдем помирать вместе. А барин ничего не говорит. Все думает. Ну, я и уйду. А после того мама захворала. Померла. А после того и ты меня взял.

- Гриша, зачем ты меня звал? - с тоскою спросил Пусторослев.

Гриша засмеялся. Как тот, ночной. Такой же зыбкий и быстрый смех. Точно быстрый плач. Такой ясный смех, и такой невеселый.

- А как же? - страстно заговорил Гриша, - отчего так? Почему, скажи, за что нам такое житье собачье? Разве для того мы на земле живем, чтобы друг друга поедом есть? За что? И если он насильничает, так все терпеть без конца?

Пусторослев глядел на черные, пламенные Гришины глаза, на его бледное, худое и такое прекрасное лицо. Жутко было ему. А Гриша говорил:

- Пойти бы всем вместе, дошли бы до такого места, где земля новая, и небо новое, и лев свирепый не кусает, и змейка-скоропейка не жалит. Да нет нам свободы, никуда не пойдешь.

- Гриша, откуда ты набрался слов? - спросил Пусторослев. Ему хотелось разрушить это темное очарование, которое так долго держало его в своей власти. Гриша слегка покраснел.

- Может быть, я глупости говорю. Не знаю. Что от людей услышишь, что сам придумаешь. Ты думаешь, что ты барин, так ты один думаешь? Я тоже люблю думать. Только, что я тебе скажу.

Гриша приумолк.

- Скажи, Гриша.

- Если бы я все это дело знал, ни за что бы я не захотел быть человеком.

Были не раз такие странные и не совсем детские разговоры. Наутро Пусторослеву казалось, что этого Гриша не говорил, что все эти слова ему пригрезились в дремоте позднего вечера, в усталой дремоте вопрошающего и не находящего ответа человека.

И сам Гриша днем бывал совсем простым и обыкновенным мальчиком, с самыми простыми мальчишескими затеями и интересами. Только тихий очень и скромный, и очень худенький. И когда вспоминал покойных родителей, то иногда поплачет. А. когда говорили при нем о фабричных рабочих, он делался печальным и хмурым, и начинал дрожать, и тихо уходил.

Там, у гроба матери, он казался лохматым, взъерошенным и уродливым. Но на самом деле он был скорее красив. Только очень уж худ.

И хорошо было то, что у него не много было неприятных привычек. Или, может быть, он был такой тихий и внимательный, что сам скоро замечал, чего здесь не следует делать.

Приближались великие дни. Сладостное веяние свободы носилось над городами и темными селениями нашей родины. Созрело негодование, и в его бурном дыхании отогрелась нежная надежда, так долго таившаяся под равнодушным и беспощадным снегом.

Гриша пришел вечером к Пусторослеву. Видно было, что он хочет что-то сказать.

- Гриша, что ты? - спросил Пусторослев. Гриша помолчал. Покраснел.

Так покраснел, как никогда еще не видел у него Пусторослев. Сказал звенящим и решительным голосом:

- Наши завтра пойдут. И я пойду. Пусторослев испугался.

- Гриша, куда ты пойдешь? Что за глупости! - досадливо крикнул он. - Что тебе там делать, такому маленькому? Гришины глаза горели, и щеки багряно пылали.

- Пойду, - тихо, но решительно сказал он. Пусторослев понял, что не надо спорить.

- Гриша, - сказал он успокоительно, - утро вечера мудренее. Мы об этом лучше завтра поговорим с тобою, - а теперь не пора ли нам спатиньки?

Гриша стыдливо улыбнулся.

- Спатиньки придут сами, - сказал он, - а только какие спатиньки? Белые далеко, зеленым рано, серых не хочу, черных ты не пустишь, - какие же спатиньки! разве только красные.

День страшный и беспощадный поднялся над морозным жутким городом. Была безоружная толпа, и вооруженные люди убивали. И ужас витал над столицею.

Пусторослев рано вышел из дому. Забыл о Грише. Встречи и заботы захватили его.

И вдруг, в говоре толпы, мимолетные слова:

- Много мальчишек...

Разом вспомнил. Стало страшно. Поехал домой. Очень торопил извозчика. И так было страшно и тоскливо, словно непоправимое совершалось несчастие.

Дома - расстроенное Наташино лицо, ее убегающий взор, ненужные слова:

- Ах, Андрей Павлович, на улицах-то что делается.

- Гриша где? - крикнул Пусторослев. Наташа смутилась. Покраснела. Заплакала.

- Как сказали с вечера шубку спрятать и сапожки, все спрятала в шкап. Да уж как он ключ нашел, ума не приложу. И такой был тихий, и такой тихий. На минутку вышла, вернулась, нет Гриши. Оделся, и уж как пробежал? Ума не приложу.

Пусторослев вышел опять на улицу. Остановился у подъезда. Куда идти?

Шли все в одну сторону. Поспешно, словно спасаясь. Молодой человек с рыжею бородкою, по одежде рабочий, в очках, говорил:

- Вот он чем нас встретил! штыками да пулями. В толпе дворников и лавочников слышался злой говор:

- Студент. Переоделся.

Какой-то паренек в барашковой шапке быстро пробежал, крича:

- Товарищи, обходят!

Побежали.

Показались всадники. Они ехали медленно. На перекрестке собралась толпа рабочих. Слышались крики. Полетела в солдат пустая бутылка. Двое всадников отделились от строя. Нелепо махали шашками. Толпа разбежалась.

Пусторослев свернул в переулок. Шел куда-то. Шел поспешно, пробираясь наудачу к центру города. Не везде можно было пройти, - стояли цепи солдат, не пускали.

Шум, толпа, казаки, окрики часовых, - все это скользило мимо сознания. Пусторослев забыл, что его ждали, забыл о своем деле, - только мысль о Грише повторялась настойчиво и больно.

И вдруг увидел Гришу. Мальчик пробежал мимо, странно бледный на морозе. Крикнул Пусторослеву:

- Иди, иди за мною.

Черные на бледном лице глаза мгновенною молниею блеснули перед усталым взором Пусторослева. И в то же мгновение резкий звук рожка пронизал все уличные шумы.

- Гриша, вернись! - крикнул Пусторослев. Бежали мимо, кричали. Было видно много искаженных ужасом лиц. Улица пустела.

И опять Гриша. Подошел к Пусторослеву.

- Зачем они бегут? Чего они боятся? - спрашивал он, и голос его звенел и дрожал.

Такой бледный, и глаза так горят. Пусторослев взял его за плечо и сказал:

- Милый, вернемся домой. Здесь не надо стоять. Они убивают. Гриша засмеялся, - совсем, как тот, ночной мальчик. Пусторослев смотрел на Гришу с недоумением и тоскою. Белый и сияющий, как тот, ночной посетитель, мальчик говорил:

- И пусть убьют. Разве ты боишься? Умрём вместе. Не стоит жить с этими злыми людьми. Не хочу быть с ними.

Вдруг где-то странно близко послышался тупой гул и топот множества коней. Всадники приближались медленно и неуклонно. Лошадиные в пене морды были близки и странно добродушны и покорны, как всегда, - а над ними колыхались красные, свирепые и тупые лица.

И над гулом и топотом стройного воинства пронесся внезапный звонкий крик:

- Палачи!

Гриша оттолкнул руку Пусторослева и, звонко крича, побежал навстречу всадникам. Сверкнула белая, беспощадная улыбка, мелькнула в воздухе длинная стальная полоса, - офицер ударил Гришу.

Над детским трупом быстро мчались всадники.

Маленький изуродованный труп схоронили. Пусторослев остался жить, - усталый, безрадостный, втянутый в суету ежедневной работы для дела, - труд до подвига, но все еще без восторга.

Но длится время, и он ждет. Наступают великие дни. Опять придет сияющий рождественский мальчик.

Уже он приходит, приходит снова, тихий, вопрошающий, озаренный темною улыбкою, - подходит в тишине одинокого вечера и заглядывает в усталое лицо Пусторослева.

И опять слышит Пусторослев его тихий и настойчивый шепот:

- Я хочу. Я пойду с ними, - и ты пойдешь со мною, в новый мир, через эту дверь, темную, но верную.

И знает Пусторослев, что теперь он не оставит Гришу одного, - пойдет с ним, за ним. И шепчет:

- Милый? Где ты? Кто ты? И слышит:

- Приду. Вместе пойдем. И повторяет:

- Вместе умрем.